

ПАМЯТИ ГАРОЛЬДА БЛУМА

УНИЧТОЖЬТЕ ДИАСПОРУ, ИЛИ ОНА УНИЧТОЖИТ ВАС.

Зеев Жаботинский, Девятое ава*,

Тиш'а бе-ав, 1938 год

* Девятое ава (Тиш'а бе-ав) — день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, день траура еврейского народа. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

1.

Меня зовут Рубен Блум, и я гисторик — да, именно так. Впрочем, полагаю, довольно скоро я войду в историю. Под этим я имею в виду, что умру и сам стану историей — редкий тип трансформации, традиционно предуготовленный представителям более отвлеченных дисциплин. Законоведы после смерти не становятся законом, медики после смерти не становятся медициной, а вот преподаватели химии и биологии, преставившись, разлагаются на химию и биологию, минерализируются в геологию, рассредоточиваются по своей науке, точно так же как математики наверняка становятся статистикой. Тот же процесс происходит и с нами, историками, — по моему опыту, мы единственные из гуманитариев, для кого это справедливо, — единственные, кто превращается в собственный предмет изучения: мы стареем, желтеем, морщинимся и истончаемся вместе с нашими материалами, пока жизнь наша не канет в прошлое, не превратится в субстанцию времени. А может, это во мне говорит еврей... Гои верят, что Слово становится плотью, евреи верят,

что Плоть становится Словом: воплощение куда более естественное и рациональное...

В рамках дальнейшего предуведомления позволю себе привести слова, сказанные мне тогдашним президентом Американской исторической ассоциации (пусть он останется безымянным), я познакомился с ним в студенчестве, вскоре после Второй мировой войны, на каком-то симпозиуме. «А, — произнес он, вяло пожимая мне руку, — Блум, говорите? Еврейский историк?»

Он явно рассчитывал меня уязвить, но лишь польстил мне, и даже ныне я улыбаюсь подобной формулировке. Мне нравится ее нечаянная неточность и двусмысленность, служащая своего рода психологическим тестом: «“Еврейский историк” — о чем вы думаете, когда слышите эти слова? Какой образ приходит вам в голову?» Дело в том, что подобный эпитет и верен, и неверен. Я действительно еврейский историк, но не историк евреев — точнее, профессионально я никогда этим не занимался.

Я историк Америки — или был им. Я недавно вышел на пенсию после полувека преподавания в качестве почетного профессора истории американской экономики (должность учреждена на средства Фонда Эндрю Уильяма Меллона*) Университета Корбин в Корбиндейле, штат Нью-Йорк, — отчасти сельской, отчасти дикой

* Эндрю Уильям Меллон (1855–1937) — американский политик, банкир, миллиардер, промышленник, меценат, коллекционер произведений искусства.

местности в самом сердце округа Шатокуа, неподалеку от озера Эри, среди яблоневых садов, пасек и молочных хозяйств, — или, как упрямо твердят надменные географические невежды из Нью-Йорка (который город), «на северной окраине штата». (Некогда я и сам принадлежал к таким горожанам, и, хотя врет старая поговорка, что якобы преподаватели учатся у студентов большшему, нежели наоборот, я все-таки почти сразу понял: не следует называть Корбиндейл «городком на севере штата».) Изначально я занимался историей экономики доамериканского периода, эпохи британских колоний, однако репутацию (в ее настоящем виде) заработал в той сфере, которую ныне именуют «теория налогообложения», — в частности, благодаря моим изысканиям в области истории влияния налоговой политики на большую политику и политические революции. Признаться, эта область никогда меня особо не увлекала, однако была мне доступна. Точнее, этой области не существовало, пока я не открыл ее, а открыл я ее, как неловкий Колумб, потому лишь, что она там была. К тому времени, как я пришел в науку, в Америке уже было не протолкнуться, даже в истории американской экономики было не протолкнуться, а в цифрах я всегда соображал неплохо. История налогообложения помогла мне выбраться из гетто колониальной каталлактики*, а потом и из Америки как таковой в европейские

* Экономическая теория того, как система свободного рынка достигает обменных курсов и цен.

города-государства, в феодальные откупа, в церковные десятины, развитие таможенных и торговых пошлин в Античности... вплоть до Розеттского камня и даже Библии: многие забывают, что и тот и другая, по сути, всего лишь налоговые документы...

Что еще примечательно? Хотел бы я знать. Но знаем ли мы это? Некоторые свои лекции я начинал вольной цитатой из Твена, а тот, в свою очередь, вольно цитировал Франклина, а тот, скорее всего, позаимствовал эту фразу у кого-то из неназванных англичан: «Говорят, в этом мире ни в чем нельзя быть уверенным, кроме смерти, налогов и сроков сдачи ваших работ...»

Хотелось бы верить, что в силу профессии я лучше многих приучен к выборочному использованию фактов и к тому, что каждая эпоха, каждое идеологическое движение ухитряется смастерить хроники по собственной мерке, эти хроники служат его целям и льстят его представлению о себе — от «Я не умею лгать» Вашингтона (он произнес эту фразу, когда повредил топорищем вишню в отцовском саду) до отобранных с особым сладострастием рассказов об убийстве Кеннеди, оставляющих ощущение, будто этот план общими усилиями придумали мафиози, ЦРУ, КГБ и Мэрилин Монро на шумном совещании в огороженной отдельной кабинке в дальнем конце «Клуба 21». Моя версия из серии «Выбери свою историю»^{*} — моя научная биография, ее

^{*} Отсылка к серии детских книг-игр «Выбери свое приключение» (Choose Your Own Adventure).

можно найти онлайн. Простите старику занудство: зайдите на сайт *Corbin.edu*, далее в раздел «Факультет», оттуда на «Кафедру истории», кликните на мое имя — и обнаружите, по сути, копию моего резюме, только в нем перечислены лишь самые важные события: девять наград «Лучшему преподавателю Корбина» (1968, 1969, 1989, 1990, 1992, 1995, 1999, 2000, 2001), премия «Историк года» Американской исторической ассоциации (1993), почетные ученые степени Лондонской школы экономики и Национального университета Сингапура, относительно свежий список публикаций и библиография. В продаже можно найти следующие мои книги: «Общая история налогообложения»; «Налоги без представительства: история Америки в десяти налогах»^{*}; «Импортные квоты, экспортные субсидии: путь через нетарифные барьеры к торговле»; «История эмбарго»; «Кровавые деньги: налогообложение в работорговле»; «Джордж Сьюэлл Баутвелл»^{**}: аболиционист, суфражист, основатель Налоговой службы».

Не поймите меня неправильно: я горжусь своими успехами — а может, меня приучили говорить и даже думать, будто я горжусь ими, главным образом потому, что каждое новое отверстие на беспрестанно удлиняю-

* «Нет налогам без представительства» — лозунг, использовавшийся в качестве главной претензии британских колонистов Северной Америки к королевской власти; широко применялся в ходе Американской революции.

** Джордж Сьюэлл Баутвелл (1818–1905) — американский политик.

щемся ремне моих достижений отдаляет меня от моего происхождения — от того Рувима Юдья Блума, что родился в 1922 году в центральном Бронксе в семье евреев-эмигрантов из Киева, вырастивших из меня представителя среднего класса. Они заботились о том, чтобы я получил хорошее образование: отдавали меня в хорошие школы, а когда я обнаружил склонность к умственному труду, беззастенчиво бранили меня на идише.

На следующий день после нападения японцев на Пёрл-Харбор я женился на своей школьной возлюбленной и ушел служить в армию США; меня сделали счетоводом, поскольку я (по настоянию родителей) успел кончить половину курса бухучета, на удивление быстро печатал на машинке (76 слов в минуту) и отличался скверной осанкой (небольшой сколиоз, всего-то 12 градусов*). Войну я прошел, не покидая пределов страны, почти весь срок службы писал изящные утонченные рассужденьица об исключительной вычурности Элиота («...Но обгрызли // Свечу веков. Вот вид с моста Риальто...»**) и Паунда («Узура погубит младенца в утробе // Разлучит влюбленных до срока»***), посылал их в драгоценные изящные поэтические журнальчики и получал отказы; оформлял зарплатные чеки

* Вторая стадия сколиоза, при которой призывник считается ограниченно годным к службе.

** Элиот Т. С. Бурбанк с «Бедкером», Бляйштейн с сигарой. Перевод В. Топорова.

*** Паунд Э. Канто XLV. Перевод К. С. Фарая.

и возмещал расходы на командировки из Форт-Беннинга в Форт-Силл.

После войны я подал документы в Городской колледж: там моя зарождающаяся склонность к гуманитарным наукам и, в частности, к литературе под влиянием различных сил (родительских ли, практических) выпрямилась в струнку — точнее, выстроилась в столбик, дабы более соответствовать карьере в финансах. В итоге пришли к компромиссу: мое увлечение литературой превратилось в историю, увлечение прочих бухгалтерским делом превратилось в экономику, а Америка осталась Америкой. Я защитил диссертацию в Городском колледже и, помыкавшись в шеоле* внештатного преподавательства, стал первым евреем Корбин-колледжа (в те дни Университет Корбин еще назывался колледжем), причем я имею в виду не «первым штатным преподавателем исторического факультета Корбин-колледжа», я имею в виду первым евреем в колледже как таковом — и среди преподавательского, и, насколько мне известно, среди студенческого состава.

Блистательный, ныне забытый литературный критик Ван Вик Брукс придумал выражение «полезное прошлое» — то есть прошлое, которое создавал (создавала, создавали) для себя всяк современный, порвавший со своими корнями и средою американский интеллектual, дабы отыскать смысл в настоящем и направление в будущем. Я вспоминал это выражение каждый раз,

* Обитель мертвых в иудаизме. Здесь: ад, преисподняя.

как проезжал по шоссе Ван Вика из аэропорта к родителям — точнее, полз, досадуя и радуясь своему опозданию; скажем так: я злился на пробку, но наслаждался отсрочкой. Меня ждало лишь ворчание, просьбы об одолжениях и бесконечные пересказы соседских междоусобиц: представляешь, что сказала миссис Хабер? (нет, другая миссис Хабер!), представляешь, что случилось с Гартнером? (нет, с тем Гартнером, у которого умерла жена, у него еще больное сердце, карбункул и ребенок с полиомиелитом!); недоучтенные, переоцененные грехи нераскаявшегося мясника, пекаря и бакалейщика, назойливые раввины с их сборами денег на благотворительные нужды — словом, бремя того, что я считал «бесполезным прошлым», еврейским прошлым, я сбежал от него в языческую академию, в холмы и долины моих безмятежных прениягарских лесов.

В целом почти всю мою жизнь — до относительно недавнего времени, когда череда травм (лодыжка, колено, бедро) вынудила меня пожертвовать мобильностью в угоду летальности, — происхождение не придавало мне силы, и, если не получалось его отрицать, я его игнорировал.

Кожа моя от рождения не отличалась белизною, но с возрастом стала толще: в эпоху Великой депрессии в еврейском квартале, граничившем с ирландским и итальянским, иначе и быть не могло. Улицы чуть поодаль от Гранд-Конкурса изобиловали бессмысленными издевательствами, я же, в отличие от сверстников, драться не любил. Меня учили реагировать

на провокации в духе Иисуса Христа, которого я же и распял (в чем меня регулярно обвиняли). Меня дразнили, донимали, я подставлял другую щеку, надеялся на лучшее, но готовился к худшему и неизменно понимал: жалобы на жизненные невзгоды не принесут мне ни облегчения, ни отмщения и, уж конечно, не сделают чести. Блумы (я сам, жена моя Эдит, дочь моя Джудит), единственное еврейское семейство в нашем городишке не по ту, какую следовало бы, сторону от Катскильских гор, в пору послевоенную постоянно сталкивались с унижениями. Разумеется, унижения эти не были так жестоки, как в большом городе, чаще всего они оказывались пассивными, а не агрессивными, и сносить их нам помогало не столько мужество, сколько осознание того, что мы все-таки не миссис Джонсон (она раз в неделю приходила к нам делать уборку), не работники столовой колледжа, не ремонтники и не дворники — словом, не чернокожие, или, как мы тогда говорили, не цветные, не негры. (Наше с Эдит поколение говорило «цветные», поколение Джудит — «негры».) По крайней мере, мы с Эдит никогда не забывали, что глупые шутки о дешевизне — их позволял себе мастер из «Мэй-тэга»*, чинивший нашу бытовую технику, — оружие исключительно слабое и бесполезное в анналах антисемитизма, и счесть их опасными (что за нелепость!) значило выказать неуважение к нашим предкам. В кон-

* The Maytag Corporation — американский бренд бытовой техники, ныне принадлежит Whirlpool Corporation.

це концов, греки душили еврейских младенцев их же пуповиной, римляне раскаленными щетками и гребешками сдирали с мудрецов кожу, инквизиция пускала в ход дыбу, нацисты — газ и пламя. По сравнению с этими историческими перипетиями чем могла навредить нам шутка вроде «Сколько евреев влезает в машину?» и даже брошенное зловонным шепотком «жид» или «пархатый»? Что с того, что, когда я пригнал наш строптивый «понтиак» в мастерскую Корбиндейла, старый механик — все лицо в красных прожилках — вынул из кармана комбинезона свою масляную руку, взял у меня деньги и потрепал меня по волосам: «Как там твои рога, давно проверял?»* Чаше всего нам с Эдит как первым евреям в Корбиндейле приходилось сталкиваться с умеренным снисхождением: нам давали понять, как нам повезло, что мы вообще тут, что нас приняли, нам сделали поблажку. С нами общались свысока, нас удостаивали вниманием, нам оказывали высокомерное покровительство, нас изучали. Само наше присутствие всех занимало, а кое-кому досаждало. С неприятием нам довелось столкнуться в самом начале: городской клуб гольфа и тенниса постоянно притворялся, будто потерял наши заявки на вступление (а когда они принялись активно нас залучать, мы уже утратили интерес), на весенних каникулах ко мне стекались коллеги с просьбой заполнить за них налоговую

* Согласно расхожим антисемитским представлениям, у евреев — как у пособников дьявола — растут рога.

декларацию (ошибочно принимая сферу моих научных интересов за практические навыки), а на бесконечных вечеринках во время зимних каникул к нам с Эдит относились как к слюнявым идиотам, которые не отличают Рудольфа от Блитцена и Доннера и не знают, что делать со своими губами под омелой. На первой нашей рождественской вечеринке исторического факультета — чистая правда, это было за год до событий, о которых я хочу рассказать, — декан, ныне покойный доктор Джордж Ллойд Морс, попросил меня исполнить вместо него роль Санта-Клауса, то бишь облачиться в костюм и раздать подарки. «Это жену мою осенило, это ее гениальная идея, — пояснил он, — потому что у вас настоящая борода, как была у ее отца... в его время мужчины часто носили бороды, теперь все реже и реже, а жаль, настоящая борода куда благороднее и представительнее искусственной... Молодец я, что взял на работу усача, тем более и жене радость... не говоря уж о том, что, если вы возьмете на себя обязанности старого доброго святого Ника, у тех, кто действительно празднует Рождество, будет возможность повеселиться». Помню, как обходил комнату, волоча за собой мешок из подушки, набитый канцелярскими ножичками, по сути, крохотными кинжалами с гравировкой — эмблемой колледжа (ворон с оливковой ветвью в клюве) и девизом (*Petite, et dabitur vobis**), оставлявшие на моих руках стигматы, когда я раздавал

* Просите, и дано будет вам (лат.). Мф. 7:7.

их собравшимся; помню, как в тот вечер вернулся домой и, не снимая костюма (колпак и кафтан надлежало утром вернуть преподавателям театрального искусства, чтобы английская кафедра воспользовалась ими на собственной вечеринке), промывал порезы, смывал тальк, убеливший мне бороду, и побрился... (Прежде чем продолжать, пожалуй, следует упомянуть, что совместное обучение в Корбине ввели незадолго до моего прихода и общее число цветных студентов тогда равнялось нулю. К тому времени, как я вышел на пенсию, в университете существовал уже и Союз африканских студентов, и Союз афроамериканских студентов, и Латиноамериканское квир-сообщество, и оперативная группа «Безопасное пространство для транссексуалов». Отменили речовки, подражавшие песнопениям коренных народов Америки, — «Крик ирокеза», «Ура, аллегани»: прежде эти речовки студенты скандировали на собраниях перед спортивными матчами. Памятник основателю университета — Мэзеру Корбину, застройщику, связанному с демократами, бывшему каудильо совета директоров корпорации, ведавшей системой каналов штата Нью-Йорк, — прежде высился во дворе, не вызывая недоумений; ныне у его подножия красуется интерактивная доска, объявляющая, что Мэзер эксплуатировал рабов, наживался на труде иммигрантов, и это «противоречит ценностям университета» и «вызывает проблемы». Все эти перемены, бесспорно, примечательны, но факт остается фактом: нынешняя молодежь чувствительна как никогда. Признаюсь, я не понимаю, как толковать

сей феномен, и пытался подобраться к нему «с позиции экономической», задавшись вопросом, способствовало ли увеличение чувствительности уменьшению дискриминации, или же уменьшение дискриминации вызвало увеличение чувствительности там, тогда и так, как оно происходит ныне. Или, точнее, там, тогда и так, как его представляют себе студенты, чье похвальное стремление к одобрению выпестовали в культуру обид, какую я нахожу нестерпимой. Сколь многие из бывших моих студентов (особенно те, кого мне довелось учить в последние годы) проявляли такую терпимость к чужой психологической уязвимости и недовольству, что сами сделались нестерпимы; третьекурсники-торквемады, второкурсники-савонаролы обнаруживали изъясн едва ли не в каждой фразе, повсюду усматривали предубеждения и предрассудки. Не хочу вспоминать университетские войны, эти кровавые битвы за равные права, начинавшиеся, как начиналось множество битв за гражданские права в Америке, с евреев на передовой. И уж тем более я не хочу, чтобы подумали, будто я утверждаю, что теперешних студентов слишком легко задеть, что они принимают все чересчур близко к сердцу и, движимые лучшими побуждениями, поступают не лучшим образом, или что в университете целиком и полностью искоренили мизогинию, расизм, гомофобию и прочее. Я всего лишь отмечаю, что если в мое время еврею удавалось сойти за белого, то ему, считай, повезло, что красных ненавидели откровеннее прочих, что обращение во множественном числе не считалось

предпочтительным и что манерой поведения и самой надежной защитой для любого меньшинства было ассимилироваться, а не выделяться.)

Из всех камней, с лентой брошенных из пращей, и резиновых кляпов стрел, от каковых нам с Эдит довелось пострадать в Корбине, пожалуй, по-настоящему ранила лишь одна, и выпустил ее — ненамеренно и неожиданно — наш декан доктор Морс: он вызвал меня к себе в кабинет перед началом зимнего семестра, первого семестра моего второго года в качестве штатного преподавателя Корбина, и обратился ко мне с просьбой. По пути на семинар по американской истории (даже сейчас это предмет обязательный; в те годы он начинался отцами-пилигримами, в наши дни — торговлей рабами из Африки и ладонью, поднятой в приветствии индейцам сенека) я остановился у своего почтового ящика. До изобретения электронной почты и до того, как я перестал так сильно тревожиться за свое положение и будущее, я, по обыкновению, проверял почтовый ящик несколько раз на дню — шел ли я на занятие или с занятия, по делам или же в туалет, непременно наведывался к стене деревянных клетушек, даже если для этого приходилось делать солидный крюк. А вдруг я кому-то понадоблюсь? Вдруг я пропустил нечто важное (сообщение со штампом «СРОЧНО» наверху)? Разумеется, обычно мой ящик пустовал, в лучшем случае его украшали узенькие записки с *memoranda mundana**:

* Здесь: обыденные напоминания (лат.).

«Требуется консультант для Модели ООН*, если вам это интересно, обращайтесь к...» Но на этот раз в ящике обнаружилась сложенная записка, отпечатанная на личном бланке кафедры доктора Морса: «Руб, — гласила она со свойственной ему смесью вычурности и панибратства, — вы очень меня обяжете, если выкроите сегодня время нанести мне визит. Если можно, загляните ко мне сразу же после заключительной пары». Можно, сэр. Выкрою, сэр. Да, сэр. Судя по интонации, это требование, а не приглашение. Даже сейчас я, закрыв глаза, слышу, как доктор Морс зычно диктует послание мисс (Линде) Гринглинг — тогда она была его секретаршей, позже стала второй и последней женой. Кстати, руку мисс Гринглинг всегда было видно в посланиях, которые она печатала под диктовку доктора Морса и подписывала его именем: очень уж чинны и аккуратны были ее «М». Размашистая «М» Джорджа нависала над «о», точно величественный особняк, а порою и над «р» и «с». Эта подпись, по сути, сообщала: «Вы мои, вы живете по моей воле, я вами владею», тогда как подделки мисс Гринглинг выказывали куда большее уважение к чужим границам.

Я перечитал эту коротенькую записку раз десять, не меньше, силясь проникнуть в смысл, прозреть его между строк, подобно талмудисту, экзегету или влю-

* Модель Организации Объединенных Наций — синтез научной конференции и ролевой игры для студентов и старшеклассников, воспроизводящий работу ООН.

бленному подростку: что скрывается за словами? Точнее, чего он хочет? Что я натворил? Какие невзгоды меня ожидают? Мои еврейские страхи сейчас уже, разумеется, кажутся заурядными — да и тогда, пожалуй, тоже казались таковыми, — но это не отменяет их реальности. Некогда они были реальными. А порой даже курьезными. Не хочу, поддавшись соблазну, сбросить со счетов эти страхи, эти наследственные неврозы, поскольку на деле в теперешней их банальности следует винить то, как их изображают в книгах, фильмах, по телевизору — в СМИ; в этом следует винить нехватку воображения тех, кто транслирует их последние полвека. Нью-йоркский парнишка, волею случая новичок на историческом факультете, начинавший второй год двухлетнего испытательного срока перед тем, как быть принятым (или не принятым) в штат, одутловатый гипертоник, пугливый и даже питавшийся страхом, я был воплощением стереотипного еврея — несобранного, склонного иронизировать над собой и всему придавать избыточное значение, — карикатурами на которого Вуди Аллен и многие еврейско-американские писатели добились диковинных финансовых и сексуальных успехов. (Рот в младшем поколении, Беллоу и Маламуд в старшем.) В некотором смысле — и мне по сей день мучительно вспоминать об этом — я принадлежал к когорте, научившей Америку словам *шлемиль*, *шлемазл*, *небех* и *клоц*; пузатый сосуд одержимостей и угрызений совести, приправленных черным юмором, лохматый, потный, с сальной кожей, укомплектован-

ный комплексами, вечно боящийся ошибиться, вечно боящийся сказать не то, или надеть не тот галстук, или вместо булавки для галстука надеть зажим, или надеть запонки там, где достало бы пуговиц, или надеть клетчатую хлопковую рубашку, когда пора носить вельвет, или, того хуже, перепутать что-то простое: в каком порядке штаты принимали в Союз... Делавэр, Пенсильвания, Нью-Джерси... Выходя следом за студентами моего семинара в багряную толчею кампуса*, я твердил сей розарий, отсчитывая, как бусины четок, названия штатов: Джорджия, Массачусетс, Коннектикут? Или Джорджия, Коннектикут, Массачусетс?

Мисс Гринглинг проводила меня в кабинет доктора Морса, помедлила на пороге, чтобы принять заказ на напитки, заказ для нас обоих: «Буравчики**», Линда. Пожалуй, мы хотим буравчики». И вновь отметим перемену: некогда милой, честной, достаточно компетентной женщине средних лет — вот как Линда Гринглинг — приходилось по долгу службы записывать под диктовку, планировать встречи и смешивать коктейли для профессиональных историков, хотя порой доктор Морс просил терновый джин с лимонным соком и газировкой, или джин-тоник, порой — в своего рода сослагательном наклонении — ему приспевала охота

* Имеется в виду униформа студентов: красный и белый — цвета Корнелла, где в реальной жизни некоторое время преподавал Бенцион Нетаньху.

** Джин или водка с соком лимона или лайма.

выпить буравчик, и тогда лимоны нужно было заменить на лаймы. Сок мисс Гринглинг выжимала лично, отчего корреспонденция доктора Морса — в том числе и записка, которую я положил ему на стол, — порой отдавала цитрусовыми.

Я подсунул краешек записки — так в школьные годы я отдавал учителю разрешения от родителей отправиться на экскурсию, а в армии увольнительные — под лежащее на столе пушечное ядро, грозный щербатый шар, похожий на ссохшийся череп, трофей какого-нибудь свинцового племени охотников за головами. Больше на столе не было ничего: только пресс-папье из пушечного ядра да моя записка. Доктор Морс откинулся в кресле, откинулся в небрежной своей безмерности.

— Весь день повторяю себе: ни капли, пока не явится Руб... ни капли, пока не явится Руб...

— Извините, доктор Морс.

— Руб, я едва дотерпел.

— Я торопился как мог, сразу после занятия прямо к вам.

— Да садитесь вы уже... и зовите меня Джорджем...

Пить я никогда особенно не любил, но предложенный им коктейль ободрил меня. За коктейлем в Корбине никого не увольняют.

Доктор Морс широким жестом снял крышку с ядра: внутри выдолбленной черепной коробки хранились его курительные принадлежности. Перевернутая крышка черепа превратилась в пепельницу, мы оба закурили.

В юности я курил сигареты, в армии — сигары, Корбин приучил меня к трубке. Доктор Морс днем предпочитал трубку из тыквы-горлянки, вечером — другую, с длинным мундштуком, но большинство сотрудников факультета курило самые обычные, классические трубки, как прямые, так и загнутые, а доктор Хиллард облюбовал трубку из высушенного стержня кукурузного початка. Я курил классическую, не такую прямую, как некоторые, и не такую загнутую, как прочие. Сейчас я понимаю, что всего лишь пытался — и тщетно — слиться с большинством: пил поданный мисс Гринглинг джин, курил сладко-пряный берли*, обжигавший мне горло, щипавший глаза и вдобавок туманивший голову, а тело я рядил в костюмы в клетку, такую же крупную, как расстекловка в оранжево-желтом сиянии осени за окном.

Человек доктор Морс был жизнерадостный, но историк довольно посредственный, занимался он так называемым «имперским столетием» Британской империи (ок. 1815–1914), и, строго говоря, отношения наши напоминали связь колонии и столицы: дипломатичные и подчеркнуто любезные. Я знал свое место, знал, почему меня приняли на работу, — это определенно помогало. Доктор Морс был монархом, а я его придворным евреем**, шпионом среди собратьев-американистов

* Крепкий темный табак.

** Придворный еврей — в раннее Новое время — еврей-банкир, дававший деньги в долг европейским королевским и знатым семьям.

на историческом факультете Корбина. Мне с моей семитской предприимчивостью и семитским же стремлением обаять надлежало быть его глазами и ушами в этом непостижимом полушарии, помогать удерживать моих новосветских коллег в должных широтах, выказывать достаточное прилежание, чтобы им тоже хотелось трудиться, и достаточную добросовестность, чтобы и они не распускались. Примечательно, что и ныне, через много лет после царствования доктора Морса, Корбин первенствует в исследованиях Америки во всех областях знаний, но катастрофически отстает в исследованиях того, что доктор Морс, да и не только он, называл «Континентом». Разумеется, нынешние студенты усматривают в этом доказательство либеральности факультета, его готовности развиваться, но правда куда непригляднее. А правда в том, что доктор Морс не собрал коллектив сильных специалистов по истории Европы, поскольку не терпел конкуренции. Европа была его вотчиной (карты авторства Птолемея и компании «Рэнд Макналли» занимали всю стену напротив окна); захваченные, оккупированные, аннексированные и поделенные на части провинции всех европейских империй принадлежали ему и горстке испытанных приятелей-посредственностей, сознававших не хуже него самого, что против серьезных научных соперников им не выстоять. Эта черта доктора Морса озадачивала меня больше всего: он сознавал свои слабости, но ничуть не стыдился их. Плевать он хотел на них. Свою заурядность он носил легко, едва ли не с гордостью, как

прозрачную академическую мантию, под которой голый администратор. Его самодовольство белого англосаксонского протестанта изумляло — по крайней мере, невротика вроде меня, дитя Гармента*. В наши дни подобное самодовольство, пожалуй, сочли бы своего рода привилегией. Абсолютное спокойствие, абсолютная удовлетворенность, совершенно безмятежная способность расслабиться в своей выбеленной досуха кожаной оболочке, свойственная тому, кого с пелен окружали деньги, акции и облигации — наследие, отточенное в Гротоне**, Йеле и Гарварде. Не подумайте, что я его осуждаю: доктор Морс во всей своей простоте, своей беззаботности и простоте, преподал мне важный урок. Он научил меня, что сметливость и нахальство, не раз выручавшие меня в детстве и, уж конечно, в студенчестве, мешают мне как педагогу. Теперь, когда я в буквальном смысле первое лицо в классе, выделяться мне ни к чему. Проще говоря, мне следует и дальше заниматься наукой, писать статьи, публиковаться, вернуться волчком с пылом юного дервиша, но ни в коем случае не надрывать и не обнаруживать даже тени честолюбия. Ведь я теперь сотрудник Корбина — или обязан прикидываться таковым. Я добился своего или хотя бы должен выучиться дышать глубже и притворяться,

* Район в Манхэттене между Пятой и Девятой авеню с высокой концентрацией бутиков, магазинов одежды и центров моды; прежде здесь располагались швейные производства.

** Частная школа-пансионат в Гротоне, штат Массачусетс.

будто добился своего. Именно это, думалось мне, и пытался сообщить мне доктор Морс, потчует меня коктейлями, хотя, конечно, ему просто нравилось выпивать, не без того. Он прикончил стаканчик и пыхнул трубкой; этот добродушный толстяк походил на Санта-Клауса куда больше, чем я, — старый добрый святой Ник, оголивший лицо, лысая голова его смахивала на тыкву, оставленную после праздника гнить на крыльце Фредония-холла, кривую нелепую тыкву в бородавках, багровых лопнувших жилках и лиловых пятнах капилляров, застывших на белой, точно покрытой изморозью, коже.

А теперь я перехожу к той части рассказа, где начинаются настоящие диалоги, — к первому настоящему фрагменту с диалогом двух лиц, а не каким-то жалким «здравствуй, голубчик...», или «как дела...», или «садись ты уже на этот паршивый стул»... и прежде чем начать, я хочу обозначить правила. Двойные кавычки, они же просто кавычки, или, как в разное время их называли мои студенты, «кроличьи уши», «поднятые брови» и даже «капельки дождя, которые сообщают нам, кто говорит», — для историков святыня. В научных трудах цитаты — гарантия; дважды — нет, четырежды — истинная печать, она подтверждает достоверность и говорит: «Эти слова были сказаны или написаны до меня, честное скаутское». А поскольку одного честного скаутского никогда не достаточно, цитате положены кавычки, дескать, «всем, кто мне не поверил, вот автор (сначала фамилия, потом имя), вот название книги (курсивом) и номер страницы, лентяи вы этикие, а ну марш в библи-